

Herve Bazin

La famille Rezeaux

Книга первая
ЗМЕЯ В КУЛАКЕ

*Перевод с французского
Н.И. Немчиновой*

1

Лето, мягкое, но устойчивое в Кранском крае, согревало бронзовые завитки безукоризненно свитой спирали: это тройное кольцо живого браслета пленило бы ювелира, только в нем не было классических сапфировых глаз, потому что гадюка, на мое счастье, спала.

Она спала слишком крепко: вероятно, ослабела с годами или утомилась, переваривая лягушек. Геркулес в колыбели, удушивший двух змей, — вот античный миф, приложимый ко мне в данном случае! Я сделал то, что, очевидно, сделал и он: быстро схватил змею за шею. Да, за шею, и, конечно, совершенно случайно. Словом, произошло маленькое чудо, еще долго служившее предметом душеспасительных бесед в нашем семействе.

Я схватил гадюку за шею, у самой головы, и сжал ее, вот и все. Змея внезапно взвилась, как пружина, выскочившая из корпуса часов, а этот корпус был жизнью моей гадюки, — отчаянный рефлекс, в первый и в последний раз запоздавший на одно мгновение. Она свивалась, извивалась, обвивала мне руку холодными кольцами, но я не выпускал своей жертвы. К счастью, голова змеи, этот треугольник (подобный символу бога, ее извечного врага), держится на тонкой шее, которую легко сдавить рукой. К счастью, шершавая кожа гадюки с сухими чешуйками не обладает защит-

ной скользкостью угря. Я сжимал кулак все крепче, нисколько не испугавшись внезапного пробуждения и дикой пляски существа, казавшегося во сне таким мирным, похожим на безобидную игрушку. Мне было интересно. Я сжимал кулак. Розовый кулачок ребенка иногда может сравняться с тисками. И, сжимая кулак, я, чтобы получше рассмотреть змею, придвинул ее голову чуть ли не к самому своему носу, близко, очень близко, на расстояние нескольких миллиметров. Но успокойтесь, этого расстояния было достаточно, чтобы гадюка не могла вонзить в меня сочившиеся ядом острые зубы.

И знаете ли, у нее были красивые глаза, — не сапфировые, как у змей на браслетах, а как дымчатый топаз с черными точками посередине, глаза, горящие искрами огня, который, как я узнаю впоследствии, зовется ненавистью; подобную ненависть мне довелось видеть в глазах Психиморы, то есть моей матери, с той лишь разницей, что мне тогда уже было не до игры (впрочем, не могу утверждать с уверенностью).

У моей гадюки были крошечные носовые отверстия и удивительно широкая зияющая пасть, похожая на чашечку орхидеи, а из нее высывалось пресловутое раздвоенное жало (одно острие нацелено в Еву, другое — в Адама), — знаменитое жало, которое похоже просто-напросто на вилочку для улиток.

Повторяю, я крепко сжимал кулак. Это важно. Это было важно и для змеи. Я сжимал кулак, и жизнь затухала в ней, ослабевала, тело ее повисло в моей руке, как дряблый жезл Моисея. Она еще дергалась, но все реже и реже, изгибаясь сначала спиралью, затем в виде епископского посоха, потом как вопросительный знак. Я все сжимал. И наконец, последний вопросительный знак обратился в гладкий, бесповоротно неподвижный восклицательный — не трепыхался даже

кончик хвоста. Два дымчатых топаза померкли, полу-прикрытые лоскутками голубоватой тафты. Змея, моя змея, умерла — вернее, для меня, ребенка, она вернулась к состоянию бронзы, в котором я обнаружил ее несколько минут назад у подножия третьего платана на Мостовой аллее.

Я играл с ней минут двадцать, укладывая ее то так, то этак, теребил, дергал ее безрукое, безногое тело извечного калеки. Змея была мертва, как может быть мертва только змея. Скоро она потеряла свой прежний вид, лишилась металлического блеска, стала просто тряпкой. И показывала мне свое белесое брюшко, хотя все животные из осторожности скрывают его вплоть до смертного часа или часа любви.

Когда я обвязывал ее вокруг лодыжки, зазвонил колокол у ворот Хвалебного — детей сзывали к полднику, состоявшему из тартинок с вареньем. В этот день полагалось докончить банку мирабели, немного заплесневевшей за четыре года хранения в буфете, но куда более приемлемой, чем смородиновое желе, которое как-то особенно противно было мазать на хлеб. Я бросился бежать, высоко вскидывая грязные ноги, не забыв захватить с собой гадюку, — теперь я держал ее за хвост и раскачивал, как маятник.

Но тут мои первые научные размышления оборвал испуганный вопль, и из окна трусливой мадемуазель Эрнестины Лион донеслось до моего слуха исполненное ужаса приказание: «Бросьте это сейчас же!» И еще более трагический возглас: «О, несчастный ребенок!»

Я остановился в замешательстве. Откуда столько драматизма? Зовут друг друга, перекликаются. Обезумевшие голоса, бешеный топот каблуков по лестнице. «Мадам! Господин аббат! Сюда! Скорей! Где остальные?»

Отчаянный лай нашей собаки Капи (мы уже прочли «Без семьи»). Звон колокола. Наконец, бабушка, белая, как ее батистовое жабо, откидывая носком ботинка подол неизменного длинного серого платья, выбежала из парадного. В ту же минуту из библиотеки (правое крыло здания) выскочила тетушка Тереза — графиня Бартоломи (титул, полученный в годы наполеоновской империи), вслед за ней — мой дядя, благочестивый протонотарий, а из бельевой (левое крыло) гувернантка, кухарка и горничная... Все семейство, слуги, чада и домочадцы высыпали из бесчисленных дверей дома, словно кролики из большого крольчатника.

Осторожное семейство. Окружив меня плотным кольцом, родные все же держались на почтительном расстоянии от гадюки, которую я вертел за хвост, и это мое движение придавало ей вполне живой вид.

Тетушка Тереза. — Она мертвая?

Горничная. — Сдается мне, это просто уж.

Гувернантка. — Фреды, не подходите!

Глухонемая кухарка. — Крррхх!

Аббат. — Ну, и задам же я тебе порку!

Бабушка. — Детка, дорогой, брось этот ужас!

Отважный, гордый, я протянул свой трофей дядюшке протонотарию, по профессии своей врагу любого змия, но сей священнослужитель отскочил в сторону по крайней мере на метр. Остальные последовали его примеру. Однако бабушка оказалась храбрее прочих и, подойдя ко мне, вдруг ударила лорнетом по моей руке, так что я выронил змею. Гадюка упала на крыльцо, и дядя, расхрабрившись, стал добивать ее, воинственно попирая пятою змия, подобно архангелу Михаилу, своему небесному патрону.

Как только опасность миновала, четыре пары женских рук мгновенно раздели меня, четыре пары

женских глаз осмотрели меня с ног до головы и установили, что я чудесным образом спасся от ядовитых укусов. На меня живо накинули рубашку, ибо не пристало отпрыску семейства Резо, даже малолетнему, стоять нагишом перед слугами. Оторвавшись от гадюки, превращенной в месиво, дядя в черной сутане, грозно размахивая руками, приблизился ко мне, суровый, как само правосудие.

— Что, укусила она дурака мальчишку?

— Нет, Мишель.

— Возблагодарим Господа, дорогая матушка.

Вслух прочитаны были «Отче наш», «Богородица»; мысленно каждый принес какой-либо обет за чудесное мое спасение. Затем благочестивый протонотарий схватил меня, положил поперек колен и, возведя очи к небу, методично отшлепал.

2

Хвалебное. Великолепное название для песнопения падших ангелов или мелкотравчатых мистиков. Однако поспешим пояснить: речь идет просто-напросто об искажении слова «хлебное». Но добавим также, что «не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», и искажение это может быть оправдано, ибо, поверьте, в Хлебном ли, в Хвалебном всегда выпекали опресноки.

Переходя на более прозаический язык, скажем, что Хвалебное в течение двух с лишком столетий служило местопребыванием семейства Резо. Это скопище построек, началом которого явилась, вероятно, пекарня, стало в конце концов неким подобием замка. От хаотичности (но не от претенциозности) его спасал фасад, в жертву которому была принесена разум-

ность расположения внутренних помещений; словом, Хвалебное — характерный образец лжезамков, столь любезных сердцу старой буржуазии. Старинные семейства в наших местах страдают закоренелым пороком — не меньше, чем женские монашеские общины, — и те, и другие обожают строиться. Наши крестьяне, близкие родичи бретонских крестьян, ограничиваются тем, что прикупают землицы, если есть возможность, — округляют свои поля. Самые богатые позволяют себе построить разве что прочный хлев из добротного камня, а камень — редкий у нас строительный материал, его доставляют из Беконской каменоломни и перевозка обходится недешево. Но наши буржуа, по-видимому, чувствуют потребность нагородить побольше бесполезных комнат — соответственно количеству гектаров земли, на которые распространяется их право взимать поборы и охотиться.

Хвалебное! Тридцать две комнаты с полной обстановкой, не считая часовни; не считая двух благородных башенок, в которых скрыты отхожие места; не считая огромной теплицы, нелепо обращенной на север, благодаря чему в ней каждую зиму замерзают олеандры; не считая домика садовника, прилегающего к усадьбе; не считая конюшен, впоследствии ставших гаражами; не считая различных служб и множества беседок в парке, посвященных каждой какому-нибудь святому, скрючившемуся в нише, — во время крестных ходов перед ними служили молебны... Я еще забыл упомянуть о двух-трех голубятнях, давно уже занятых воробьями; о трех колодцах, давно уже обвалившихся, но сохранивших шиферную кровлю; о двух парадных мостах, перекинутых через жалкую струйку воды, именуемую рекой Омэ; и вдобавок еще несколько шатких мостиков и десятка три каменных

и деревянных скамеек, разбросанных по парку на случай, если благородного хозяина поместья охватит усталость.

Эта забота о хозяйских седалищах была единственной реальной данью комфорту в Хвалебном. Телефон, центральное отопление оставались сказочной мечтой. Даже самые обыкновенные, самые простые удобства, о которых извещали объявления в местной газете, были там совершенно неизвестны. Питьевую воду весьма сомнительного качества доставали из старого колодца глубиной в сто метров, и бадью ставили на закраину всю в жирных слизняках. Паркет имелся только в гостиной, да и тот был уложен прямо на землю, так что половицы приходилось менять каждые десять лет, остальные же комнаты были вымощены терракотовыми плитками — именно вымощены, так как плитки даже и не подумали сцементировать. А в кухне и того хуже: там полом служили большие каменные плиты, кое-как скрепленные глиной. Печей мало, зато много огромных каминов с чугунными подставками для дров. Добавьте к этому разбитые проселочные дороги, усыпанные ошметками капусты, — сугубо местной, а следовательно, сугубо крестьянской пищи; климат, весьма точно охарактеризованный древним девизом Соледо, бывших сеньоров Кранского края: «Свети в водах, мое солнце!» — и вы согласитесь, что Хвалебное было пригодно для жилья только летом, когда болота вокруг речки Омэ, дымясь на солнце, высыхали, покрывались корочкой, которая, растрескавшись, лежала широкими пластинами, и тогда по ним осторожно ступали легкими ножонками деревенские мальчишки, охотясь за яйцами малиновок.

Наша бабушка прекрасно это понимала и дважды в год, в точно определенный день, совершала переселение, везя с собой пианино, швейную машинку и

целую батарею медной кухонной утвари, имевшейся лишь в одном экземпляре. Однако позднее нам пришлось круглый год жить в Доме (с большой буквы) и довольствоваться им, как довольствовались местные небогатые помещики своими усадьбами, во всем похожими на нашу.

Во времена, к которым относится это повествование, то есть лет двадцать пять назад, наш край был куда более отсталым, чем теперь. Пожалуй, самым отсталым во всей Франции. Этот клочок глинистой земли, расположенный на рубеже трех провинций — Мен, Бретань и Анжу, и не отмеченный крупными историческими событиями, кроме тех, что происходили в годы Революции, в сущности, не имеет определенного названия. Называйте его как хотите: Анжуйский Бокаж, Сегрейский или Кранский край... Три департамента притязают на эту пограничную полосу между провинциями «большого» и «малого» соляного налога, отупевшую за долгие века неусыпного надзора и жестоких преследований. До сих пор сохранились зловещие названия: «Дорога соляной контрабанды», «Ферма кровавой соли», «Усадьба семи повешенных». Совсем не живописный край. Болотистые луга, поросшие осокой; дороги в ухабах, требующие повозок с огромными колесами; бесчисленные живые изгороди, превратившие поля в шахматную доску, где каждая клетка окружена щетиной колючего кустарника; старые кривые яблони, обвитые омелой; пустоши, заросшие дроком, а главное — сотни болот, порождающих мрачные легенды, водяных ужей и немолчных лягушек. Рай земной для бекасов, кроликов и сов.

Но для людей отнюдь не рай! Народ здесь хилый — классический тип выродившегося галла: кривоногий, попорченный туберкулезом и раком, как встарь, при-

верженный к обвисшим усам и чепцам с голубыми лентами, к густой, как цементный раствор, похлебке; покорный церкви и помещику, недоверчивый, как ворон, цепкий, как сорняк, падкий на сливянку и особенно на грушовку. Почти все — арендаторы, обрабатывают насиженные земли, которые переходят от отца к сыну. Крепостные в душе, они посылают в парламент с полдюжины виконтов-республиканцев, а в церковные школы — полдюжины мальчишек, которые с годами становятся рабочими-испольщиками и бесплатными служками.

Это обветшалое обрамление вполне соответствовало нашей былой славе, ныне всеми позабытой, как ночные колпаки. Узнайте же наконец, что я принадлежу к знаменитому роду Резо. Знаменитому, понятно, не в масштабе планеты, но, во всяком случае, известному и за пределами департамента. На всем западе Франции наши визитные карточки (литографированные, если представлялась возможность) всегда лежат на медных подносах поверх других. Буржуазия нам завидует. Дворянство нас принимает, а иной раз даже выдает за отпрысков нашего рода своих дочерей или берет в жены одну из девиц Резо. (Честно говоря, увлеченный остатками нашей подмоченной гордыни, я забыл поставить глаголы в прошедшем времени.)

Краткий курс истории не осведомит вас о том, что Клод Резо, вандейский капитан, первым ворвался в Пон-де-Се в дни кратковременного наступления «королевской католической» армии. (С тех пор поют: «католической французской».) Имя Фердинана Резо, вначале состоявшего секретарем претендента на престол, а затем депутатом-консерватором в парламенте «ихней» республики, вероятно, тоже не врезалось вам в память.